

СВОИ

Фот. Владимира БОГДАНОВА.



ОСТРОВ

ЗА СТОЛ НАДО САДИТЬСЯ
С ДОСТОИНСТВОМ

— Андрей Георгиевич, есть ли у вас какие-то заветные числа?

— 29 апреля 29-го года — день свадьбы моих родителей. И 29-го же апреля я получил наконец удостоверение блокадника. В память о родителях. Вполне могу считать, что это число с ангелами как-то связано. Выдали мне бумаги, в общем, по доброте, потому что документов подтверждающих, естественно, никаких нет.

— Когда вы выехали из Ленинграда?

— В апреле 42-го. То есть мы сидели в блокаде больше полугодом, всю крутую зиму там прожили. Это первое, что я помню в жизни... А чтобы считаться «блокадником», достаточно четырех месяцев.

— В вашем доме были развиты традиции застольной культуры?

— По воскресеньям мать готовила картошку с селедкой. Это был праздник. Бабушка приходила съесть кусочек... У нас была странная коммуналка — родных. То есть никогда не было коммуналки настоящей, поэтому у нас был какой-то особый мир: три семьи, бабушка — четвертая. Все жили на разных экономических уровнях, в то же время был общий ордер, общий обед, общая прислуга, общий Новый год. Теперь, с возрастом, когда нет дома, уже никого нет в живых, только дядя, мамин брат девятноста лет, я все более и более благодарен своему происхождению. Как-то меня пытали насчет шестидесятников, к которым сам я себя всерьез не отношу: мол, вы, с одной стороны, не любите Сталина, а с другой — любите Ленина. Я на это отвечаю: я никогда не жил ни с Лени-

Андрей Битов брезговал системой, и система отвечала ему взаимностью. Впрочем, время от времени, как это бывает с исключительными дарованиями, талант писателя прошибал предохранительные клапаны тоталитарного литературного котла и со свистом вырывался наружу. Выходили книжки, сделавшие его имя маяковым в отечественной словесности. На юбилее другого «эталонного» автора нонконформизма — Аксенова — Битов заметил: «В противостоянии системе мы не заметили, как нас настиг возраст». И вот сегодня самому Битову ни много ни мало — 60.

потому что лишилась привилегий «самой младшей». Егорка даже высказался в таком духе: «Я знаю, для сына: доходит с близких родственниках, и я вынужден буду на ком-то жениться, но любить буду только тебя!».

— Для вас, ребенка, было важно понятие прочного дома. А сейчас?

— Всю жизнь так или иначе без дома я не обхожусь. Другое дело, что они, мои собственные дома, разваливались. Но я их никогда не бросал. Я трижды женатый человек. И каждый раз я строил какой-то дом. И каждый раз его оставлял.

— Люди-гвозди!

— Одно могу сказать: я дружу со своими бывшими женами, насколько это возможно. Исполняю свои отцовские функции, насколько могу. Никогда я не бросал детей. Горжусь тем, что прожил без алиментов, судов и разделов имущества. Продолжаю всех любить, ведь они мои родные! Бабушка моей внучки: кто она мне? У меня даже такое отношение, допустим, к бывшему зятю — потому что он отец моей внучки. Это уже породнение, кровность. А кровность... поскольку я вырос в такой семье, где все держалось на крови — на крови вокруг и крови внутри, — не шутка. Семья была нашим островом на Аптекарском острове. Отсюда островное сознание. А остров всегда имеет тенденцию превратиться в ГУЛАГ.

СЧАСТЛИВЫЕ ВЕГЕТАРИАНСКИЕ
ВРЕМЕНА

— Вы ощущаете, что вам шестьдесят?

— Вы мне как-то напомнили (смеется). А вообще, я думаю, каждый человек имеет свой, так сказать, врожденный возраст, несмотря на то, что растет от пеленок до старости. И одновременно живет в двух возрастах. Я еду, допустим, в метро, поспрашиваю на людей. И вдруг понимаю, что я совершенно не думаю, что я такой же, как, скажем, дядяка напротив, который, может быть, меня моложе. Однажды вышел в поезде в тамбур, там всегда разыгрывается такой солидный ложный: громкие, интонированные разговоры о поллучках, о начальстве — хроника такая. И вот один другому говорит: «А ты что не был на одем сорокалетию?». И я вдруг себя поймал: я вышел в тамбур, где взрослые дяди, солдаты, офицеры или там инженеры, а по возрасту это же мои дети! Ерунда какая-то, несерьезный фон. Но мне кажется иногда: несколько жизней прожито — не одна. Или одна в одной.

— Времена, когда бывало тяжело, имеют обыкновение вспоминаться как счастливые.

— Слушайте, всю жизнь я в гробу видел систему, поэтому как я мог быть от нее несчастлив? Несчастливы те, с кем, по их представлению, поступают несправедливо. А я всю жизнь систему обманывал: когда писал, то писал свое, хотя печатал у них. У них! Я не мог быть несчастлив, оттого что не сравнивал себя с теми, кто в это же время процветал. Какое могло быть страдание? Я свое дело делал. Более того, как всегда, прошлое оборачивается во что-то лучшее: это было замечательное время. Хотя мне было действительно трудно: трудно соответствовать своим материальным обязательствам. Не жить — мне все равно как жить, мне нужна только изоляция. А вот то, что я должен был помогать детям — а это было материально невозможно, — вот это было трудно. Мне никто не завидовал, меня окружали преданные, любящие люди, я был моложе, меня любили женщины, друзья. Я дружил, пьянствовал, вообще был беззаботен до предела. И абсолютно не ангажирован. А сейчас — каким топором рубить эту чащу? Мало ценил те блага, те, по выражению Ахматовой, вегетарианские времена. Не в лагере же я сидел — дома находился. Ну, был запрет на профессию... Социализм еще чем отрицательно-положителен? В нем все равно — разве трудно было жить не хуже инженера? Как-нибудь. Ну продал что-то, как-то крутился...

— Вы перечитываете собственные книги?

— Нет. Заглядываю иногда, когда меня настигает некоторая неуверенность в себе, когда не пишется — и, право, мне нравится. А так они, книги, мне надоели. Особенно те, что хорошо прозвучали.

— У вас есть свой читатель. А свой, то есть понимающий вас, критик есть?

— В последнее время обо мне пишут в основном литературоведы, и в основном — на Западе. К критикам у меня претензий нет. Их действительность — литература, в отличие от писателей, чья действительность — жизнь. А вот к критике в целом у меня есть общий упрек: она хочет уйти от трудного. Писатель не может уйти от трудного, наоборот: трудное — его материал. А описать книгу — трудно; трудно сказать, о чем она. Поэтому легче всего придумать литературные процессы, стоять над ними, то есть перепутать позицию критика с позицией судьи. Ну как если писатель будет судить жизнь — да он сумасшедший! А тут люди судят. Вспоминается школьное: «Гоголю не совсем удался этот образ». Кто это говорит? Кому это говорят?

— Ваши ощущения за письменным столом сейчас и, скажем, тридцать лет назад изменились?

— Задачи-то усложнились, а энергия ушла. Хорошо ли, плохо, но что-то я все же сделал, что-то другое у меня впереди. Не знаю, что, но другое. Я писал взрывами; редко, но взрывчато, или, пользуясь старевшим выражением, по вдохновению. Поскольку дыхание стало короче, я начал писать стихи, неумелые, конечно.

— Но ваши стихи печатались в «Днях поэзии», и в свои прозаические вещи вы включали стихи.

— Да, человек тщеславен, и тщеславие иногда удовлетворяется трогательно и смешно. Кто-то, совершенно не знакомый мне человек, рассказал о рецензии на антологию поэзии «Строфы века» Евгения Евтушенко. И там, значит, написано: «Что это за антология, если в ней нет стихов Битова!». Я думаю, стоило не прочитать мои стихи в антологию, чтобы от случайного человека услышать то, о чем я вам рассказал (смеется).

— Можно вопрос по типу того же «школьного»? О вашем «лирическом герое» и в какой степени это автор.

— Дело в том, что «я» одним не бывает у пишущего человека, потому что «я» является инструментом. Все, что я написал от «я», — это совершенно не я. Это некий «я», который пишет за меня. Тут меня после операции психиатр спрашивал: оглядитесь, сядьте и скажите, не напрягаясь, не стесняясь, как угодно: что такое ваше «я»? Кто вы? Я не знаю, какие она преследовала цели, но я всегда к этому отношусь честно, потому что мне самому интересно: что же я в этой провокации отвечаю, и я сказал: «Футляр!».

— Футляр?

— У меня к психиатрам отношение еще сложнее, чем к милиционерам, поэтому я так ответил.

ДВУХ ОДИНАКОВЫХ БЕЗУМИЙ НЕ
БЫВАЕТ

— Вы несколько семестров читали курсы в университетах Америки. Есть такое клише: Россия духовна — Америка бездуховна. Как на ваш взгляд?

— Клише и есть клише. Разные истории, совсем разные. Может быть, Россия более поляризована, контрастна: от хама до святого — это и придает ощущение богатой духовной жизни. Поэтому все представление о русской духовности рождается либо от комплекса — в худшем случае национально-патриотического, чтобы самоутвердиться, и это надо отвергать с ходу, — либо это взгляд снаружи, который связан с

большим благополучием американцев. Жить в России человеку с иностранным паспортом и валютой всегда приятнее, чем с тем же паспортом — там, где он ничего не значит, и с валютой, которая есть у всех. И это тоже антикомплекс такой, да? Многие иностранцы здесь становятся наркоманами России. У меня тоже сегодня сложилось какое-то интересное, странное двойное существование: я сохраняю свою независимость писателя; независимость теперь уже не от идеологии, а от экономического рынка — тем, что зарабатываю за границей. И я счастлив этой независимостью от этого издательского хамства. Но в результате я тоже не совсем оттуда и не совсем отсюда. Из десяти лет пять я в общей сложности провел за границей, но я — не они. Я очень много понял. Много понял про эмиграцию, про состояние людей. Каждый раз, когда я приезжаю в Стамбул, у меня сердце кровью обливаешься. Люди жили в России полноценнейшим образом, а потом их, как бритвой, срезали. Вот это была катастрофа! И спустя семьдесят с лишним лет, когда я представляю их, стоящих на стамбульском причале, у меня сердце кровью обливаешься.

— А нынешние эмигранты?

— Нет, это, конечно, не та катастрофа. Хотя я не видел людей, нормально переживших разлуку. Как бы они ни преуспели, кем бы они ни были. Появилась новая когорта: те, кто абсолютно вписался, но не потерял своей русскости. Вместо раздвоенности получилось удвоение. Ужасно важен возраст отрыва. Взрослому человеку почту терять нельзя, почва — это уж точно метафизическое понятие.

— Вы живете в Москве двадцать с лишним лет. Считаете себя москвичом?

— Нет, конечно, я питерец. Это была моя эмиграция, если хотите. Я живу на два города: около вокзала здесь, около вокзала там. Пешком хожу на вокзал, ночь сплю, и я — там.

— Не подсчитывали, сколько времени провели в поездах «Москва—Ленинград» и «Ленинград—Москва»?

— Мне это самому очень интересно. Жаль, что у человека нет счетчика. В английском языке есть такое понятие: майлаж. К человеку оно тоже должно применяться. Я люблю вести какую-то внутреннюю статистику — это для меня астрологическое и метафизическое занятие. Не всерьез, но где-то я все считаю. Я не могу ответить на ваш вопрос точно, а то бы меня надо было сделать почетным железнодорожником Октябрьской железной дороги. Я не могу подсчитать, сколько я выпил. Если бы считал, получил бы премию «Триумф» за то, сколько надо выпить, чтобы не пропить мозги. Я не могу сосчитать, сколько я изъездил, излетал. В прошлом году на уик-энды летал из Америки в Европу. Представляете? Пересек океан 12 раз за один год! Это бред уже! Я никогда не ставил себе никакой цели, кроме окончания текста. Просто выбираю из того, что предлагают.

— Коль скоро речь зашла о транспорте... Вы ведь старый автомобилист?

— К сожалению, постепенно я стал отвыкать от руля: у меня расширились возможности, меня теща возит. Вот сейчас, в связи с шестидесятилетием, я решил: сяду за руль, потому что самая большая опасность старости: потихоньку отдаешь какие-то позиции. Так что надо сесть за руль, увидеть милиционера и выбросить немного адреналинчика. Это, по-видимому, полезно моему стареющему организму. А вообще, если сосчитать, я вожу машину уже лет 25—30. В 68-м году сел за руль собственного автомобиля — по тем временам это была невероятная роскошь! Люди куда более прославленные и то не имели. Я случайно купил машину, проводил в ней дни и ночи, перестал летать даже в Ленинград. Не мог без нее. Мне все время хотелось проделать путь в 700 километров за 7 часов. А сейчас сын отобрал машину, а ему еще ее и разбили. Теперь уже не может без машины!..

— Вернемся к юбилею, Андрей Георгиевич. Вас не утомляют все эти юбилейные телодвижения вокруг вас?

— Не хочу кокетничать, но в принципе — тяготят. И единственный способ — отойти. Как говорит Жванецкий: запах чем хорош? Отойди! А я куда-нибудь уеду. Потому что потом уже из этой лужи не вырваться. Потом люди говорят: заболтался, замескался. Есть бездна людей, которые хотят тебя поправить, оказавшись на твоём месте. Но в интервью среди всего этого я стараюсь сказать что-то свое. Книжек все равно сейчас некогда читать, их и не достать. Книжек моих никто не читал и не читает, но есть все-таки свой читатель, как бы преданный мне, которым я горжусь. Потому что он у меня — избранный. У меня была такая формула в юности: если ты написал что-то и тебя понял хотя бы один человек — в том смысле, каком ты написал, — значит, ты не безумен. Потому что двух одинаковых безумий не бывает (смеется).

— А трех тем более. Спасибо за ваши книги и за то, что вы есть.

Виктор ГАЛАНТЕР,
Владимир НУЗОВ